

В БУДУЩЕМ ГОДУ исполняется четверть века со дня кончины величайшего русского певца Федора Ивановича Шаляпина.

Великий артист оставил после себя не только граммофонные записи, но и две книги мемуаров: «Страницы моей жизни», «Маска и душа». Первую книгу редактировал Горький. Вторая книга — «Маска и душа» написана Шаляпиным за границей, после того как он навсегда покинул Родину. В целом книгу можно отнести к мемуарной литературе. Шаляпин пишет и о своей артистической деятельности после Октябрьской революции. В этих страницах книги Шаляпина мы находим много противоречивого. Предвзятость в оценке событий, главным образом быта, в годы военного коммунизма, тон воспоминаний объясняется отчасти тем, что за границей Шаляпина окружали недруги Советской власти и, видимо, имели на него влияние.

В 1917—1921 годах Шаляпин жил и большей частью выступал в Петрограде. Народ, рабочие, красно-

армейцы, матросы, впервые наполнившие зал бывшего императорского театра, восторженно принимали своего любимца. В то же время были вещи, которые, очевидно, раздражали Шаляпина, далекого от революционных дел. И это отразилось в книге «Маска и душа». Но даже в книге, рассчитанной на эмигрантов, Шаляпин с изумлением рассказывает о своей встрече с Лениным, о том, с каким тактом Ленин поправил ошибку местной власти в Петрограде, по-товарищески решил организационный вопрос, связанный с театром.

Несмотря на противоречия в воспоминаниях, они представляют собой большой интерес. Шаляпин, разумеется, многого не понял в величайших событиях того времени, но все же искренне и откровенно рассказал о своих раздумьях, сомнениях, переживаниях.

Фрагменты из воспоминаний Ф. И. Шаляпина, печатающиеся на страницах «Известий» в сокращенном виде по зарубежным газетным материалам, в Советском Союзе публикуются впервые.

Лев НИКУЛИН.

ПРОШЛО знаменательное в русской истории лето 1905 года, полное событий и борьбы. К осени разразилась всероссийская железнодорожная забастовка.

Университеты превратились в места для революционных митингов, в которых принимала участие и уличная толпа. Городской народ открыто вышел из повиновения власти... Возмущались крестьяне, требовали земли, жгло помещичьи усадьбы. Вспышки народного недовольства чередовались с репрессиями. Городская Москва стала строить баррикады.

С этим моментом у меня связано воспоминание, не лишнее символического значения. В пору московских волнений я жил в Москве. Там же жил Горький. Времена были смутные и опасные. Москва хоронила убитого полицией Баумана... Естественно, что революционеры устроили из его похорон внушительную демонстрацию. Вечером этого дня я зашел к Горькому с одним своим старым другом. На квартире Горького ждали не то обиска, не то арестов. По-видимому, сдать так просто они не хотели, и в квартире писателя дежурило человек десять молодых людей, вооруженных наганями и другими этого же рода инструментами, названий которых я не знал, так как я играю на других... Всем им мы пожали руки, и когда они потом просили нас петь — мы с удовольствием им пели. Песня всегда звучит прекрасно... Вечер вышел действительно отличный, несмотря на тревогу, волновавшую дом и собравшихся в нем людей...

СЛУЧИЛОСЬ так, что кто-то из петроградских руководителей распорядился часть театральных костюмов и реквизита направить из Мариинского театра на периферию.

— Нет, — сказал я категорически. Тогда я с управляющим театром, мне сочувствовавшим, решил съездить в Москву и поговорить об этом деле с самим Лениным...

Я вошел в совершенно простую комнату, разделенную на две части, большую и меньшую. Стоял большой письменный стол. На нем лежали бумаги, бумаги. У стола кресло. Это был сухой и трезвый рабочий кабинет.

И вот из маленькой двери, из угла показался человек с малой шевелюрой, с бородкой. Ленин. Он немного картавил на «р». Поздоровались. Он очень любезно пригласил сесть и спросил, в чем дело. И вот я, как можно внятнее, начал рассусоливать очень простой, в сущности, вопрос. Не успел я сказать несколько фраз, как мой план рассусоливания был немедленно расстроен Владимиром Ильичем.

Он коротко сказал: — Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Я все отлично понимаю.

Тут я понял, что имею дело с человеком, который привык понимать с двух слов, и что раздражать дел ему не надо. Он меня сразу покорило и стал мне симпатичен...

А Ленин продолжал: — Поезжайте в Петроград, не говорите никому ни слова, а я употреблю влияние, если оно есть, на то, чтобы ваши резонные опасения были приняты во внимание в вашу сторону.

Я поблагодарил и откланялся. Должно быть, влияние было, потому что все костюмы и декорации остались на месте, и никто их больше не пытался трогать. Я был счастлив.

КОМИССАРА народного просвещения Анатолия Васильевича Луначарского я однажды — задолго до революции — встретил на Капри у Горько-

го. Мы сидели за завтраком, когда с книгами в руках пришел на террасу довольно стройный полублондин рыжеватого оттенка в пенсне и в бородке а ля Генрих IV. Вид он имел «нигилиста», — считевая ксотоворотка, белая в черных мушкет, подпоясанная каким-то простым пояском, может быть, даже тесемкой. Он заговорил с Горьким по поводу какой-то статьи, которую он только что написал, и в его разговоре я заметил тот самый южный акцент, с которым говорят в Одессе. Человек этот держался очень скромно, деловито и мне был симпатичен. Я потом спросил Горького, кто это такой, хотя и сам понимал, что это журналист. Не помню, кто в то время был в России царским министром народного просвещения; мне, во всяком случае, не приходила в голову мысль, что этот молодой человек в ксотоворотке — его будущий преемник и что мне когда-нибудь понадобится его властная рекомендация в моем Петербурге... Не раз впоследствии А. В. Луначарский меня выручал.

МНЕ случилось увидеть и самого знаменитого из руководителей ЧЕКА, Феликса Дзержинского. На этот раз не я искал встречи с ним, а он пожелал увидеть меня. Я думаю, он просто желал подвергнуть меня допросу, но из внимания, что ли, ко мне избрал форму интимной беседы.

...И вот, получая я однажды приглашение на чашку чая к очень значительному лицу, и там находится Дзержинский. Дзержинский произвел на меня впечатление человека сановитого, солидного, серьезного и убежденного. Говорил с мягким польским акцентом. Когда я пригляделся к нему, я подумал, что это революционер настоящий — фанатик революции. В деле борьбы с контрреволюцией для него, очевидно, не существует ни отца, ни матери, ни сына, ни святого духа. Но в то же время у меня не получилось от него впечатления простой жестокости. Дзержинский держался поразительно тонко. В первое время мне даже не пришла в голову мысль, что меня допрашивают.

— Знаю ли Ш.? Какое впечатление он на меня производит? И т. д. и т. д.

Ш. отделался легкой карой.

КВАРТИРА Д. Бедного в Кремле являлась для руководящих советских работников чем-то вроде клуба, куда очень занятые и озабоченные люди забегали на четверть часа не то поболтать, не то посоветоваться, не то с кем-нибудь встретиться...

Эти люди, должен я сказать, относились ко мне весьма любезно и внимательно. Я уже как-то упоминал, что у Д. Бедного я встретил в первый раз Ленина, у Бедного же я встретился со Сталиным. В политические беседы гостей моего приятеля я не вмешивался и даже не очень прислушивался. Их разговоры я мало понимал, и они меня не интересовали. Но впечатление от людей я все-таки получал.

Сталин говорил мало, с довольно сильным кавказским акцентом. Но все, что он говорил, звучало очень веско — может быть, потому, что это было коротко.

Из его не ясных для меня по смыслу, но энергичных по тону фраз, я выносил впечатление, что этот человек шутить не будет. Если нужно, он так же легко, как легка его беззвучная поступь лезгина в мягких сапогах, и станцует и взорвет храм Христа-Спасителя, почту или телеграф, — что угодно.

Я ПРИСТУПИЛ к работе над оперой Серова «Вражья сила», которую мы тогда ставили в Мариинском театре. Эта постановка мне особенно памятна

тем, что она доставила мне случай познакомиться с художником Кустодиевым. Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве. Все культурные русские люди знают, какой это был замечательный художник. Всем известна его удивительно яркая Россия, звенящая бубенцами и масленницей. Его балаганы, его купцы Суслы, его купчихи Инскильни, его сдобные красавицы, его ухахи и молодцы — вообще все его типичные русские фигуры, созданные им по воспоминаниям детства, сообщали зрителю необычайное чувство радости. Только неизменная любовь к России могла одарить художника такой веселой меткостью рисунка и такой аллюривной сочностью красок в неутомимом его изображении русских людей... Но многие ли знали, что сам этот веселый, радующий Кустодиев, был физически беспомощный мученик — инвалид? Нельзя без волнения думать о величии нравственной силы, которая жила в этом человеке и которую иначе нельзя назвать, как героической и доблестной. Когда возник вопрос о том, кто может создать декорации и костюмы для «Вражьей силы», заимствованной из пьесы Островского, «Не так живи, как хочешь», — само собой разумеется, что решили просить об этом Кустодиева. Кто лучше его почувствует и изобразит мир Островского? Я отправился к нему с этой просьбой. Жалостливая грусть охватила меня, когда я, пришедши к Кустодиеву, увидел его прикованным к креслу. По неизвестным причинам у него отнялись ноги. Лечили его, возили по куортам, оперировали позвоночник, но помочь ему не могли. Он предложил мне сесть и руками передвинуть колесо своего кресла поближе к моему стулу. Жалко было смотреть на обездоленность человека, а вот ему как будто она была незаметна: лет сорока, русский, бледный, он поразил меня своей духовной бодростью. Ни малейшего оттенка грусти в лице. Блестяще горели его веселые глаза — в них была радость жизни. Я изложил ему мою просьбу.

— С удовольствием, с удовольствием, — отвечал Кустодиев. — Я рад, что могу быть вам полезен в такой чудной пьесе. С удовольствием сделаю вам эскизы, займусь костюмами. А пока что, ну-ка, вот попозируйте мне в этой шубе. Шуба у вас больно такая, богатая. Приятно ее написать.

— Ловко ли? — говорю я ему.

И Федор Иванович рассказал художнику историю того, как неожиданно досталась ему в наследство реквизированная у кого-то шуба:

...Пришли, предложили спеть концерт в Мариинском театре для какого-то, теперь уже не помню какого, «Дома», и вместо платы деньгами али мукой предложили шубу. У меня хотя и была моя татарка кенгуровая и шубы мне, пожалуй, брать не нужно было бы, но я заинтересовался. Пошел в магазин. Предложили мне выбрать. Экий я мерзавец — буржуй! Не мог выбрать похуже — выбрал получше...

— Вот мы ее, Федор Иванович, и закрепим на полотне...

Посмеялись и условились работать. Писал Кустодиев портрет, отлого наклоня полотно над собою, неподвижным в кресле... Написал быстро. Быстро написал он также эскизы декораций и костюмов к «Вражьей силе». Я занялся актерами. И начались репетиции. Кустодиев пожелал присутствовать на всех репетициях. Изо всех сил старался я каждый раз достать моторный грузовик, и каждый раз с помощью его сына или знакомых мы выносили Кустодиева

с его креслом, усаживали в мотор и затем так же вносили в театр. Он с огромным интересом наблюдал за ходом репетиций и, казалось мне, волновался, ожидая генеральной. На первом представлении Кустодиев сидел в директорской ложе и радовался. Спектакль понравился публике. Недолго мне пришлось любовно глядеть на этого удивительного человека. Портрет мой был написан им в 1921 году зимой, а в 1922 году я уехал из Петрограда. Глубоко я был поражен известием о смерти, скажу, бессмертного Кустодиева. Как драгоценное достояние я храню в моем парижском кабинете мой знаменитый портрет его работы и все его изумительные эскизы к «Вражьей силе».

ПОЛУЧИЛ я в Москве письмо от одного американского импрессиона. Оно пришло ко мне прямо по почте, а через А. В. Луначарского, который переслал его при записке, в которой писал, что вот, мол, какой-то чудак приглашает вас в Америку петь. Чудаком он назвал антрепренера не без основания: тот когда-то возил по Америке Анну Павлову и потому на его бланках была выгравирована танцовщица в позе какого-то замысловатого па... Антрепренеру я ничего не ответил, но сейчас же стал хлопотать о разрешении выехать за границу. Визу я получил довольно скоро. Но мне сказали, что за билет до одной только Риги надо заплатить несколько миллионов советских рублей... Луначарский обещал что-то такое устроить и, действительно, через некоторое время он вызвал меня по телефону и сообщил, что я могу проехать в Ригу бесплатно. Туда едет в особом поезде Литвинов и другие советские люди. Меня поместят в их поезд. Так и сделали.

В этот мой выезд из России я побывал в Америке и пел концерты в Лондоне.

ЖИТЬ за границей одному, без любимой семьи, мне не мыслилось, а выезд со всей семьей был, конечно, сложнее — разрешат ли? И вот тут — каюсь — я решил покривить душой. Я стал развивать мысль, что мои выступления за границей принесут Советской власти пользу, делают ей большую рекламу... К моей мысли отнеслись, однако, серьезно и весьма благосклонно. Скоро в моем кармане лежало заветное разрешение мне выехать за границу с моей семьей... Однако в Москве оставалась моя замужняя дочь, моя первая жена и мои сыновья. Я не хотел подвергать их каким-нибудь неприятностям в Москве и потому отправился к Дзержинскому с просьбой не делать поспешных заключений из каких бы то ни было сообщений обо мне иностранной печати. Может быть найдется предприимчивый репортер, который напечатает сенсационное со мной интервью, а оно мне и не снилось. Дзержинский внимательно выслушал и сказал: — Хорошо!

Спустя две-три недели после этого, в раннее летнее утро, на одной из набережных Невы, близости от Художественной академии, собрался небольшой кружок моих знакомых и друзей. Я с семьей стоял на палубе. Мы махали платками. А мои дражайшие музыканты Мариинского оркестра, старые мои кровные сослуживцы, разыгрывали марши. Когда же двинулся пароход, с кормы которого я, сняв шляпу, махал ею и кланялся им, то в этот грустный для меня момент — грустный потому, что я уже знал, что долго не вернусь на родину, — музыканты заиграли «Интернационал»...

ГОВОРИЛ я много раз об Алексее Максимовиче Пешкове (Горьком) как о близком друге. Дружбой этого замечательного писателя и столь же замечательного человека я всю жизнь гордился. Ныне эта дружба омрачена, и у меня такое чувство, что умолчать об этом грустном для меня обстоятельстве было бы равносильно укрытию истины. Некрасиво носить в петлице почетный орден, право на ношение которого сделалось сомнительным. Я уже рассказывал о том, как просто, быстро и крепко завязалась наша дружба с ним в Нижнем Новгороде в начале этого века. Хотя мы познакомились с ним сравнительно поздно — мы уже оба в это время были достаточно известны — мне Горький всегда казался другом детства. Так молодо и непосредственно было наше взаимоотношение. Да и в самом деле: наши ранние юные годы мы действительно прожили как бы вместе бок о бок, хотя и не подозревали о существовании друг друга. Оба мы из бедной и темной жизни пригородов, он — Нижнего, я — Казани. И был день, когда мы одновременно

приста: Горький был принят, я — отвергнут. Не раз мы с ним по поводу этого впоследствии смеялись. Потом мы еще часто оказывались соседями в жизни, одинаково для нас горестной и трудной. Я стоял в «цепи» на Волжской пристани и из руки в руку перебрасывал арбузы, а он, в качестве крючника, тащил тут же, вероятно, какие-нибудь мешки с парохом на берег. Я — у сапожника, а Горький поблизости, у какого-нибудь булочника.

Любовь к человеку не нуждается, собственно говоря, в оправдании; любишь потому, что любишь. Но моя сердечная любовь к Горькому в течение всей моей жизни была не только инстинктивной. Этот человек обладал всеми теми качествами, которые меня всегда привлекали в людях. Горький восхищал меня своим выдающимся литературным талантом. Все, что он написал о русской жизни, так мне знакомо, и близко и дорого, как будто при всяком рассказанном им факте я присутствовал лично сам. Я уважаю в людях знания. Горький так много знал! Добро есть красота и красота есть добро. В Горьком это было слито... Помню, как Горький высоко понимал призвание интеллигента. Как-то в одну из вечеринок, у какого-то московского писателя, в домике на Арбате, в перерыве между пением Скитальца под аккомпанемент гуслей и чарочки водки с закуской, завели писатели спор о том, что такое, в сущности, значит интеллигент? По-разному отзывались присутствующие писатели-интеллигенты. Одни говорили, что это человек с особыми интеллектуальными качествами, другие говорили, что это человек особенного душевного строя и пр. пр. Горький дал свое определение интеллигента, и оно мне запомнилось: это человек, который во всякий момент жизни готов встать впереди всех с открытой грудью на защиту правды, не щадя даже своей собственной жизни. Не ругаясь за точность слов, но смысл передаю точно. Я верил в искренность Горького и чувствовал, что это не пустая фраза... Жила вера в дело, за которое он страдал. И это давало всем нам бодрость. В нас, а не в Горьком, мрачную жалость к его болезни... Как беззаботно и весело смеялся он над превратностями жизни и как мало значения придавали мы факту физического ареста нашего друга, зная, сколько в нем внутренней свободы!.. Я уже прожил порядочное время за границей, как однажды получил письмо от Горького с предложением вернуться в Советский Союз... Позже, когда мне случилось быть в Риме (я там пел спектакли) я встретился с Горьким лично. Все еще дружески Алексей Максимович мне снова тогда сказал, что необходимо, чтобы я ехал на родину. Я снова и более решительно отказался, сказал, что ехать туда не хочу... Не хочу потому, что не имею веры в возможность для меня там жить и работать, как я понимаю жизнь и работу... Я почувствовал, что Алексею Максимовичу мой отказ очень понравился. По нашей дружбе прошла глубокая трещина... Среди немногих потерь и нескольких разлук последних лет, не скрою, и с волнением это говорю — потеря Горького для меня одна из самых тяжелых и болезненных... Что же произошло? Произошло, оказывается, то, что мы вдруг стали различно понимать и оценивать происходящее в России. Я думаю, что в жизни, как и в искусстве, двух правд не бывает, — есть только одна правда. Кто этой правдой обладает, я не смею решить.

ЕСТЬ в Крыму, в Суук-Су, скала у моря, носщая имя Пушкина. На ней я решил построить замок искусства. Именно замок... С амбраурами, но не для смертоносных орудий. Я приобрел в собственность Пушкинскую скалу, заказал архитектуру проект замка, купил голубены для убранства стен.

Мечту мою я оставил в России забытой... Иногда люди говорят мне: еще найдется какой-нибудь благородный любитель искусства, который создаст вам ваш театр. Я их в шутку спрашиваю: — А где он возьмет Пушкинскую скалу?

Но это, конечно, не шутка. Моя мечта неразрывно связана с Россией, с русской талантливой и чуткой молодежью. В каком-нибудь Охайо или на Рейне этот замок искусства меня не так прельщает... Я не создам своего театра. Придут другие — создадут. Искусство вечно, как сама жизнь.

ПАРИЖ. 1932 г.

Отпечатано с матриц тн Лянина типографии газет Б 04206